

НА ЧУЖБИНЕ

БЫЛО это в Мюнхене, в конце мая или, может быть, в июне 1975 года. Мы возвращались с Александром Галичем с одного из студенческих митингов и на Мариен-плац обратили внимание на толпу, обступившую уличного музыканта. Приблизившись, мы услышали, как парень объявил, что исполнит сейчас песни известного русского барда Александра Вертинского. И затем на вполне приличном русском языке действительно спел «Чужие города», «Пани Ирэн», «Танцовщицу» и еще что-то. Мы пригласили парня в ресторан, он рассказал, что учится в одном из университетов Мюнхена, а песни Вертинского слышал с детства, от деда, бывшего русского офицера, прожившего большую часть жизни в Югославии. И вот теперь, в память деда, он каждое свое выступление заканчивает этими песнями. Галич тоже стал вспоми-

нать о своих встречах с Вертинским и сказал, что хотел бы издать сборник его избранных песен — стихи и ноты вместе, ибо считает себя во многом обязанным Вертинскому. Я со своей стороны предложил включить в сборник мемуары Вертинского «Четверть века без родины», хоть и изданные в журнале «Москва», но в ужасно искореженном виде.

Вскоре Галич уехал в Париж, а я в Нью-Йорк. И вот, совершенно неожиданно, в конце ноября 1977 года получаю от Галича, из Парижа, пакет, в котором и находилась рукопись, предлагаемая мною читателю. Я даже не успел ответить Галичу: из Парижа пришла трагическая весть о его гибели. И вот теперь, десять лет спустя, эссе Галича об Александре Вертинском возвращается читателям.

Григорий ПОЛЯК,
литературовед.

Нью-Йорк.

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Александр
ГАЛИЧ

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад*. Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал — на чей концерт? Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне совершенно невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактера.

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский. Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертые-престертые.

Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это и было правдой, что граф Алексей Николаевич

Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вертинского прием. Гостей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяйки, и тут один из гостей, поглывший на собравшемся обществе: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатъев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вертинский, — спросил: «Кого еще ждем?» Грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!»

И вот мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения, вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато-седыми волосами; за ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

Тихо тянутся сонные дроги
И вздыхая бредут под откос...

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю Джима», «Лиловый негр вам подает

манто», «Прощальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет...»

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейская», в Ленинграде месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже не известные даже по именам Бориса

ло довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский!» Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным) и сказал: «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам», она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Простите, садитесь к нам, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким счастьем было для нас, когда мы получили пластинки с вашими песнями, с вашими или песнями Лещенко...» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шалапин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось, как творчество ресторанное — под водочку, под селедочку, под расстегайчик, под пьяные слезы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

Памяти Александра Николаевича Вертинского

И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену украсть,

А сердце сжимается больно,
Виски малярный мокрый,
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.

Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой, как под старой шинелью
Лежал сероглазый король.

В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот
Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывет.

А гавань созвездие множит,
А тучи, а тучи грядой,
Но век не вмешаться не может,
А норов у века крутой.

Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе,
И вот он вралей-лейтенанта
Назначил морским аташе.

На карте истории Некто
Возникнет, подобный мазку,
И правду лилового негра
За займом приедет в Москву.

И все ему даст непременно
Тот Некто, который никто.
Не тихая пани Ирэн
Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,
Что черта ли нам на рожен,
Нам нужен прощальный не ужин,
А сто пятьдесят под «Боржом».

А трое, ну, что же, что трое,
Им равное право дано,
А Троя разрушена. Троя,
И это известно давно.

Все предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех,
А нашу Елену, Елену
Не греки украли, а век.

Фото Э. Евзерикина
и В. Мاستюкова (ТАСС).



● А. Н. Вертинский.

Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был еще один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время, — я уже говорю, в мое время, как говорят старики, — так вот, в мое время это бы-